

Ганс Гейнц Эверс

Синие индейцы

Анонимный перевод

Отцы ели кислый виноград,
А у детей на зубах оскомина.
Книга Иезекииля

Я познакомился с доном Пабло, когда в бытность мою в Оризабе я должен был застрелить старого осла. Оризаба - маленький городок, который служит местом отправления для людей, совершающих восхождение на вершину горы Оризаба, про которую нам в школах говорили, что она называется Попокатепетль. Я был тогда совсем юным птенцом и при всяком удобном и неудобном случае примешивал к моему испанскому языку множество ацтекских и тласкаланских слов; тогда мне это казалось необыкновенно "мексиканским". К сожалению, мексиканцы не ценили этого и предпочитали смесь с английским жаргоном.

Итак, Оризаба - прелестный городок...

Однако у меня нет желания распространяться относительно Оризабы, городок этот не имеет никакого отношения к этому рассказу. Я должен был упомянуть о нем только потому, что я пристрелил там одного старого осла, который также не имеет никакого отношения к этому рассказу. Впрочем, этот старый осел мне нужен, потому что благодаря ему я познакомился с доном Пабло, а о доне Пабло я должен говорить, так как благодаря ему я попал к синим индейцам.

Так вот, старый осел стоял в отдаленной части парка.

Парк этот квадратный и не очень большой и находится в конце города. Там много высоких деревьев, и дорожки заросли травой, так как туда никогда не заглядывает ни один человек: обыватели Оризабы предпочитают городскую площадь, которая находится в самом центре города, - там играет музыка. Был уже поздний вечер, шел сильный дождь, когда я отправился в городской парк; в задней части парка, где поднимаются стены гор, я увидел старого осла. Он был совсем мокрый и пасся в сырой траве; я хорошо заметил, что он посмотрел на меня, когда я проходил мимо.

На следующий вечер я снова пошел в городской парк, дождь продолжал идти. Я нашел старого осла на том же месте. Он не был привязан, вблизи не

было ни дома, ни хижины, где могли бы жить его хозяева. Я подошел к нему; тут только я заметил, что он стоит на трех ногах, левая задняя нога болталась в воздухе. Он был очень стар, и у него было много ран и нарывов от слишком узкой подпруги, от ударов хлыста и от укулов остроконечной палкой. Задняя нога была сломана в двух местах, вокруг нее висела грязная тряпка. Я вынул носовой платок и сделал, по мере возможности, перевязку.

На следующее утро мы поехали в город, но повернули обратно через два дня, промокнув до костей от непрекращавшегося дождя. Мы продрогли, и у нас зуб на зуб не попадал в этом промозглом холоде. Старый осел не выходил у меня из головы все время; я отправился в парк прямо на своей кобыле, не дав ей отдохнуть в конюшне. Осел все еще стоял на старом месте; он поднял голову, когда увидел меня. Я спешился, подошел к нему и стал его гладить, ласково приговаривая. Это мне было очень тяжело, потому что от него исходило страшное зловоние; я прикусил себе губы, чтобы подавить тошноту. Я наклонился и поднял его больную ногу: она была поражена гангреной, мясо разложилось и издавало зловоние, гораздо более невыносимое, чем...

Этого я рассказывать не буду. Довольно, если я скажу, что я это выдержал, и я знаю, чего мне это стоило. Старый осел смотрел мне в глаза, и я понял, о чем он меня просит. Я вынул браунинг и нарвал пригоршню травы: "Ешь", - сказал я ему. Однако бедное животное не могло уже больше есть. Оно только смотрело на меня. Я приставил револьвер ему за ухо и

спустил курок. Выстрела не раздалось. Еще и еще раз, но выстрела не было. Револьвер давал осечку, отсырел и заржавел в мокром кармане. Я обнял голову осла и обещал ему снова прийти. Он посмотрел на меня большими измученными глазами, в которых был написан страх: "Но придешь ли ты? Наверное ли придешь?"

Я вскочил в седло и хлестнул свою кобылу. В эту минуту с ветвей ближайших деревьев снялись коршуны, сторожившие момент, когда их жертва свалится, чтобы наброситься на нее, - они не ждут, чтобы она издохла. А между тем они терпеливо ждут целые дни напролет и не теряют из виду больного животного, пока оно наконец не свалится.

Животное падает, потом опять встает, дрожит перед тем ужасом, который его ожидает, и снова падает; о, оно хорошо знает свою участь. Если бы оно могло еще издохнуть где-нибудь в укромном месте, одно, подальше от этих страшных птиц! Но коршуны подстерегают свою жертву и сейчас же слетаются к ней, как только она падает и уже не имеет больше сил подняться на ноги. Хищные птицы должны ждать еще несколько дней возле павшего животного, пока, под напором гнилостных газов в трупe, не лопнет шкура, которую они не в силах проклевать. Но едва животное падает, они сейчас же набрасываются на самый лакомый кусочек, на изысканную закуску: глаза живого животного... Я повернулся в седле:

- Смотри, стой и не сдавайся, - крикнул я, - держись крепко! Я скоро вернусь.

Грязь брызгала во все стороны, когда я скакал по размытым дождем улицам; я приехал в гостиницу, словно какой-то бродяга. Я вошел в общую залу; за угловым столом пили наиболее почетные гости - немцы, англичане, французы.

- Кто даст мне ненадолго револьвер? - крикнул я.

Все взялись за карманы, только один спросил:

- Для чего?

Тогда я рассказал о моем старом осле. Все вынули руки из карманов, никто не дал мне своего браунинга.

- Нет, - ответили они мне, - нет, этого мы не должны делать, это принесет вам много хлопот и неприятностей.

- Но ведь осел никому не принадлежит, - вскрикнул я, - по-видимому, хозяин выгнал его и предоставил ему разлагаться заживо и быть съеденным коршунами!

Пивовар засмеялся:

- Совершенно верно, теперь он никому не принадлежит. Но стоит вам только его пристрелить, как сейчас же найдется хозяин, который потребует от вас в виде вознаграждения за понесенный убыток такую сумму, на которую вы могли бы купить двадцать лошадей.

- Я вышвырну его за дверь.

- Ну конечно, в том-то вся и штука. Но этот человек обратится к содействию полиции и судьи - тогда посмотрим, как вы откажетесь удовлетворить его иск. Кроме того, с вами будут обращаться хуже, чем в Пруссии, а это едва ли вам понравится. На следующий день вы будете подвергнуты аресту, и нам придется пустить в ход все наше влияние, чтобы выручить вас, - вот чем может окончиться вся эта история. Верьте, что в Мексике тоже существуют законы.

- Вот как? - воскликнул я. - Законы?

И я указал на несколько следов пуль в стене:

- Нечего сказать, хороши законы. А это что?..

Английский инженер прервал меня:

- Это? Но ведь мы вам вчера рассказывали. Вон тот застрелил в этой комнате в шутку двух женщин и трех мужчин, но это были индейцы и проститутки, которые далеко не стоят того, чего стоит осел. Убийцу присудили к заключению в тюрьме на полгода, но он отделался тем, что пробыл в больнице дня два. Недурно, но не забывайте: это был мексиканец и племянник губернатора. Законы существуют в этой стране для иностранцев, и тогда они применяются самым строгим образом. Я уверен, что вы были бы обречены на

долголетнее заключение в тюрьме из-за вашего старого осла, если бы мы не вступились за вас, - а это стоило бы нам не одну тысячу: и полицмейстер, и судья, и губернатор - никто не пропустит такого удобного случая. Отказывая вам в револьвере, мы только бережем наши деньги.

Так никто и не дал мне браунинга. Я просил, но меня высмеяли, и я в бешенстве выбежал из залы. Четверть часа спустя кто-то постучал в дверь моей комнаты - это был дон Пабло.

- Вот вам мой револьвер, - сказал он.

Потом он сделал мне несколько намеков:

- Уложите ваши чемоданы, пойдите как можно позже в парк, займите место в поезде, который отправляется в три часа ночи. Это мне будет особенно приятно, так как я отправляюсь с этим поездом и тогда у меня будет попутчик.

* * *

Действительно, я оказался его попутчиком, и не на один только день. Дон Пабло таскал меня по всей Мексике в течение нескольких месяцев. Словно один из своих семи сундуков. Дело в том, что он был коммивояжером из Ремшейда.

В той стране, по которой он разъезжал, прекрасно знают, что это означает; но те, кто читает мою книгу, понятия не имеют об этом, а потому я расскажу, что это такое. Коммивояжер торговой фирмы в Реймшейде говорит на всех языках и на всех наречиях. У него в Америке в каждом городе, начиная с Галифакса и кончая Пунта-Аренасом, есть хорошие друзья и приятели, он в точности знает кредитоспособность каждого купца. Его патрон в отчаянии, что должен платить ему пятьдесят тысяч марок в год, но в то же время он очень доволен тем, что тот вознаграждает его за это в десять раз; рано или поздно, но дело всегда кончается тем, что глава фирмы делает такого коммивояжера своим компаньоном. Это передвижной Вертхейм Громадный торговый дом в Берлине., его сундуки с образцами товаров наполняют два вагона. И чего только в них нет! Тут и подвязки, и иконы, и кастрюли, и зубные щетки, и части машин и т. п. И коммивояжер хорошо знает, где лежит каждый, он знает свои сундуки не хуже той страны, по которой путешествует. Тем, кому выпадает на долю путешествовать с ним, нет надобности в путеводителях, он наизусть знает все, что написано в путеводителях, а кроме того, еще много другого.

Моего ремшейдца звали Пауль Беккер, но я буду называть его "доном Пабло", потому что так его называют по всей Мексике, да и сам он так называет себя там. Я немного замешкался и пришел на вокзал в последнюю минуту; второпях, вскакивая в вагон, я оборвал свои подтяжки. Дон Пабло сейчас же подарил мне новые в счет своей фирмы. Потом он выругал меня за то, что я купил себе билет. Сам он вместо того, чтобы предъявить кондуктору билет, подарил ему старый карманный ножик.

Сперва дон Пабло повез меня в Пуэбло, потом в Тласкалу. Мы разъезжали по всем штатам, были в Юкатане и в Соноре, в Тамаулипасе, в Ялиско, в Кампехе и в Коахиле.

Пока можно было пользоваться железными дорогами, я молчал. Но когда пришлось нагружать двадцать семь тяжелых сундуков на мулов и медленно тащиться то в гору, то под гору - мне скоро это надоело. Несколько раз я уже собирался забастовать, но дон Пабло говорил в таких случаях с возмущением:

- Что? Но ведь вы не видели еще руин Митлы!

И я снова запасался терпением недели на две. Но этому не было конца: мне постоянно надо было видеть еще и еще что-нибудь интересное. Однажды дон Пабло сказал мне:

- Ну, теперь мы отправляемся в Гуэрреро.

Я ответил ему, что пусть он едет туда один, что мне уже в достаточной степени надоела Мексика. На это он возразил, что я должен обязательно видеть индейцев штата Гуэрреро, иначе у меня будет весьма несовершенное понятие о Мексике. Я наотрез отказался от дальнейшего путешествия и сказал, что видел уже более сотни индейских племен и что я ничего не выиграю, если увижу еще одно лишнее племя.

- Голубчик, - воскликнул дон Пабло, - уверяю вас, что вам необходимо посмотреть

индейцев Гуэрреро, если вы вообще когда-нибудь собираетесь разговаривать об индейцах. Дело в том, что индейцы Гуэрреро...

- Очень глупы, - прервал я его, - как и все индейцы.
- Конечно, - подтвердил дон Пабло.
- И страшно ленивы.
- Само собою разумеется.
- И очень хорошие католики и утратили все свои старинные обычаи.
- Совершенно верно.
- Какой же интерес они могут представлять для меня, скажите, ради Бога?
- Вы должны только посмотреть их самих, - сказал дон Пабло с гордостью. - Дело в том, что там есть племя совершенно синих индейцев.

- Синих?

- Да, синих.

- Синих?

- Ну да, синих, синих! Они такие же синие, как мантии на мадоннах, изображения которых я вожу с собой. Ярко-синие. Василькового цвета.

Ну хорошо, мы купили себе новых лошадей, ослов и мулов и, выехав из Толуки, направились через Сьерра-Мадре. Раз два мы останавливались, чтобы демонстрировать наши образцы; в то время, как дон Пабло заезжал в Тикстлу, я удостоился чести вести переговоры с клиентами в Чилапе. Вообще же мы совершили это путешествие сравнительно быстро: уже недели через три мы были на берегу Тихого океана, в Акапулько, столице штата, в которой оказалась настоящая гостиница. Я высматривал всюду синих индейцев, но не нашел их, хотя дон Пабло и уверял, что здесь их часто можно встретить. Он призвал хозяина гостиницы, итальянца, в свидетели; и тот подтвердил, что, действительно, синие момоскапаны появляются иногда в городе. Всего только несколько месяцев тому назад два французских врача возвратились из Истотасинты, места жительства этого племени, они пробыли там полгода, изучая "синюю болезнь", - по мнению врачей, синий цвет кожи этих людей болезненное явление. Эти два врача сказали ему, что момоскапаны кроме своей синей окраски отличаются еще поразительной памятью, распространяющейся на самое раннее детство, что главным образом объясняется тем обстоятельством, что это маленькое племя с незапамятных времен питается исключительно рыбой и моллюсками. Впрочем, хозяин посоветовал мне лучше съездить самому посмотреть на это племя, которое живет при впадении Момохуики в море, днях в десяти езды от города.

Дон Пабло поблагодарил и отказался ехать туда, так как был уверен в том, что среди момоскапанов не найдет ни одного клиента, могущего доставить хоть какую-нибудь прибыль его фирме. Тогда я отправился один, взяв с собой только трех индейцев, из которых один был узаматольтек с СьерраМадре, понимавший немного по-ислапекски. Можно было предполагать, что кто-нибудь из синих индейцев понимает немного этот язык соседнего им племени.

То, что я хотел видеть у момоскапанов, я увидел уже в четверти часа езды от города. Я мог констатировать, что они, действительно, синие, что уже до меня, по всей вероятности, заметили сотни других путешественников. Основным цветом их кожи, конечно, был желтоватый, свойственный всем мексиканским индейцам, однако от этого цвета остались лишь небольшие пятна, величиной с ладонь, большей частью на лице. Но синий цвет кожи был преобладающим, в противоположность тигровым индейцам из Санта-Марты в Колумбии, у которых яркий желтый цвет преобладает над ржаво-коричневым. Несмотря на это, мне кажется, между этими двумя случаями игры природы есть много общего - хотя бы то, что индейцы из Санта-Марты также питаются исключительно продуктами моря. К сожалению, в кожных болезнях я также мало смыслю, как имперский немецкий посланник в дипломатии; в книгах также мне никогда не приходилось ничего читать относительно синего цвета момоскапанов, иначе я охотно вплеl бы сюда несколько научных сентенций. Это наверное произвело бы выгодное впечатление. Но, глядя на этих удивительных людей, я

мог только вытаращить глаза и сказать:

- Гм, - странно!

Когда я был в шестом классе, то по дороге в гимназию всегда встречал банкира Левенштейна. Он возвращался с прогулки верхом, на нем была шапка, на ногах гамаши, и он размахивал хлыстиком. Он был маленький и толстый, в левом глазу носил монокль, а вся правая сторона его лица была покрыта темно-фиолетовым пятном. Глядя на него, я думал: "Вот потому-то он и носит монокль: если бы он носил пенсне, то при каком-нибудь неловком толчке оно могло бы оцарапать ему правую, синюю, сторону носа".

И потом я уже никогда не мог больше отделаться от мучительной мысли: "Если ты подойдешь к нему слишком близко, то ты можешь задеть своей верхней пуговицей за его щеку, ах, и тогда ты ему сразу сдерешь всю кожу со щеки!"

Эта мысль мешала мне даже во сне и во время занятий в школе, завидя его издали, я сворачивал в сторону, а в конце концов начал ходить другой дорогой.

Такие же синие, почти фиолетовые, как пятно на щеке банкира Левенштейна, были и синие индейцы. И с первого же мгновения при виде их у меня снова явился страх, который я испытал двадцать четыре года тому назад, - как бы верхняя пуговица моего сюртука не разодрала им кожу. Я был до такой степени во власти этого детского впечатления, что в течение нескольких недель, прожитых мною среди момоскапанов, ни разу не мог заставить себя дотронуться хотя бы до одного из них.

А между тем я хорошо видел, что это вовсе не кровоподтеки. Кожа была гладкая и блестящая и была бы даже красива, если бы не светлые пятна, которые пестрили кожу. И только моя странная, непреодолимая мания мешала мне привыкнуть к оригинальной окраске кожи этих индейцев.

Раз я уже был в Истотасинте и раз не знал, что мне делать с синими феноменами, то я решил, по крайней мере, заняться другой загадкой, то есть поразительной памятью синих индейцев, о которой говорили французские врачи моему хозяину в Акапулько.

Предоставляю науке установить, действительно ли и в какой степени повлияло питание исключительно рыбой на синюю окраску кожи момоскапанов, предоставляю науке же разрешить аналогичный вопрос, до сих пор мало исследованный, относительно красного цвета индейцев Санта-Марты. Эти колумбийские тигрокожие едят очень много черепаш, а мексиканские синеккожие совсем не едят их, может быть, какой-нибудь исследователь сделает из этого особый вывод. Пусть наука также установит причину все возрастающей человеческой памяти при преобладающем или исключительном питании морскими продуктами - для меня это уже не имеет особого значения. В течение целого полугодия я производил над собой этот опыт и достиг того, что во мне вновь возродились некоторые исчезнувшие воспоминания из моего раннего детства, к которым я, впрочем, был вполне равнодушен. А потому я прекратил эти опыты к великой пользе моего сильно пострадавшего желудка и глотки. Среди индейского племени момоскапанов я не нашел ни одного индивида, который не помнил бы до мельчайших подробностей все, что ему пришлось пережить в своей, к сожалению очень однообразной, жизни; многие помнили свою жизнь, начиная с первого года. Особенно удивляться этому нечего, особенно если принять во внимание то обстоятельство, что это маленькое племя с незапамятных времен, из поколения в поколение, никогда не питалось ни мясом, ни плодами, ни зеленью, а исключительно только дарами моря, и главным образом особого рода моллюсками, содержащими в себе громадное количество фосфора. Однако надо сказать, что этот обычай ничего не имеет общего с требованиями религии, и продукты земли, идущие в пищу, отнюдь не подвергаются какому-либо "табу": синие индейцы не пользуются этой пищей только потому, что на этом пустынном, бесплодном берегу ничего не водится и не растет. Синие индейцы ничего не имели против некоторого разнообразия в пище и с величайшей благодарностью принимали остатки моих консервов.

Как и большая часть мексиканских индейцев, момоскапаны очень ленивы, неразвиты и крайне миролюбивы - они не знают даже употребления оружия. Благодаря посещению

французских врачей, которые сделали им много подарков, они несколько привыкли к иностранцам и, когда узнали о причине моего посещения и поняли, что мне надо, фазу проявили величайшую предупредительность по отношению ко мне и сами стали приводить ко мне тех из своих соплеменников, которые отличались особенной памятью. Однако мне скоро надоело выслушивать эти однообразные исповеди, причем очень часто мне приходилось прибегать к помощи двух переводчиков, к моему узаматольтеку и еще одному старому кацiku, который в самой незначительной степени владел изальпекским языком. Но вот однажды мне привели подростка, который крайне удивил меня. Сперва он рассказал мне всякие пустяки о своем раннем детстве, но потом заговорил о своей свадьбе и о том, что поймал тридцать больших рыб и зажарил их и что вскоре после этого он был со своей женой в Акапулько. И он подробно описал Акапулько. В этом не было ничего особенного, но замечательно было то, что подростку едва ли было тринадцать лет и что он наверное не был женат и никогда не был за пределами Момахучики. Я заметил ему это через переводчика. Он глупо посмотрел на меня и ничего не ответил. Но старик сказал, ухмыляясь:

- Пала (отец).

Должен сознаться, что в эту ночь я не спал, хотя меня и не кусали москиты. Одно из двух: или мальчик налгал мне, или же я открыл изумительный феномен - память, которая заходила за пределы жизни человека и захватывала случаи из жизни предков.

Почему бы это было невозможно? У меня зеленые глаза, как у моей матери, и выпуклый лоб, как у моего отца. Все может быть наследственно, каждая склонность, каждый талант. А разве память не может переходить по наследству? Самый маленький котенок, на которого лает собака, выгибает спинку и фыркает. Потому что у него вдруг совершенно инстинктивно является воспоминание, унаследованное им от тысячи предыдущих поколений, о том, что это - лучшее средство защиты. Еж, - ах, стоит только раскрыть Брема, - и на каждой странице можно найти какую-нибудь странную привычку, которой животные не могли бы выучиться сами, но по памяти унаследовали от бесконечного множества предыдущих поколений. В этом-то и заключается инстинкт - в воспоминании, унаследованном от предков. А эти индейцы, мозг которых был освобожден от всякой другой работы, эти синие индейцы, предки которых питались исключительно пищей, удивительным образом развивающей память, конечно, должны были обладать еще более развитой памятью - перешедшей к ним от родителей.

Родители продолжают жить в своих детях. В самом деле? Но что же продолжает жить? Быть может, лицо. Дочь музыкальна, как отец, а сын левша, как мать. Случайность. Нет, нет, мы умираем, а наши дети совсем, совсем другие люди. Мать была уличной потаскухой, а сын сделался известным миссионером. Или: отец был обер-прокурором, а дочка поет в казино. Нам приходится утешать себя бессмертием души, которая поет "Аллилуйя" на зеленых лугах в Небесном селении - на этой земле жизнь наша кончена, на этой земле, которую мы знаем и любим. Кончена.

И мы не хотим умирать. Мы делаем невероятные усилия для того, чтобы как-нибудь продолжить нашу жизнь в воспоминании, - мы умираем спокойно, если имя наше напечатано в энциклопедическом словаре. Мы счастливы только тогда, когда сознаем себя бессмертными хотя бы на одну секунду в течение двухсот лет. Всякому хочется жить в воспоминании человечества или своего народа, или, по крайней мере, своей семьи. Вот почему толстый бюргер хочет иметь детей - наследников своего имени.

* * *

Нечто живет - и, может быть, лучшее. Многое умерло - и, может быть, лучшее. Как знать? Ибо все умерло, что так или иначе не сохранилось в воспоминании. Тот совершенно умер, кто забыт, а не тот, кто умер. Но в том-то все дело: люди начинают понимать, что не воспоминание хорошо, а забвение. Воспоминание - это домовая, это изнурительная болезнь, отвратительная чума, душащая живую жизнь. Мы не должны больше наследовать от отца и матери, не должны смотреть на них вверх, нет, мы должны смотреть на них вниз, в самую глубину, ибо мы больше их, выше их. Мы должны разбить "вчера" потому, что живем

сегодня, и потому, что наше "сегодня" лучше. В этом наша великая вера, настолько сильная, что мы вовсе не думаем о том, что это великое "сегодня" уже завтра превратится в жалкое "вчера", достойное быть брошенным в мусорную кучу. Вечная борьба с вечным поражением: только когда мысли наши отходят в область прошедшего, они побеждают.

Мы - рабы понятий наших отцов. Мы мучимся в этих оковах, задыхаемся в узкой темнице жизни - в темнице, которую создали наши праотцы. Но мы строим новую, более обширную, храмину, и только в момент нашей смерти мы заканчиваем эту постройку - и тогда оказывается, что потомки наши попали в наши оковы.

Но не ошибся ли я в выводе? Что если сегодня я в одно и то же время представляю себя самого, моего отца и моего праотца? Что если то, что содержит мой мозг, - не умрет, если оно будет жить дальше, разрастаться в моем сыне и внуке? Что если я могу примирить в себе самом вечный переворот?

* * *

Я отдал приказание приводить ко мне всех, чья память переходила за пределы собственного рождения; и каждый день ко мне приводили кого-нибудь мужчину, женщину или ребенка. Я констатировал, что способность воспоминания у детей распространяется как на жизнь отца, так и на жизнь матери, последнее преобладало. Однако во всех случаях эта способность ограничивалась воспоминанием событий из жизни родителей до рождения детей, свидетельствующих о них, и по большей части воспоминания эти касались какой-нибудь случайности на свадебном торжестве или какого-нибудь события из последнего года перед зачатием ребенка. В некоторых случаях я мог наблюдать, что воспоминания относятся к жизни предшествующего поколения. Так, например, один индеец, мать которого умерла при его рождении и который был ее единственным сыном, рассказывал мне подробности о других рождениях, которые, по-видимому, относились к жизни его бабушки или прабабушки. Все эти исповеди были, конечно, малоинтересны, все они повторялись в том же порядке и давали маленькую картину сонной, мирной и однообразной жизни этих ихтиофагов. Из целого сборника моих заметок я могу отметить только два момента, которые представляют собой некоторый интерес и имеют значение. Никто из тех, кто приходил ко мне исповедоваться, никогда не говорил: "Мой отец сделал то-то", "Моя мать, моя бабушка сделала то-то", каждый рассказывал только про самого себя. Очень немногие пожилые люди, как, например, кацик, который помогал мне в качестве переводчика, уяснили себе, что многие воспоминания относятся не к жизни тех, кто их рассказывает, а к жизни их предков; однако большая часть синекожих, и главным образом те, память которых переходила за пределы их рождения, были убеждены, не отдавая себе в этом отчета, что все деяния их родителей относятся к ним самим. Второй момент, который я отметил, заключается в том, что все эти люди никогда не вспоминали о смерти отца или матери, так как их воспоминания относились только к жизни родителей. Но так как многие из них собственными глазами видели, как умирали их родители, то, быть может, вследствие этого и создалась бессознательная тенденция относить к себе самим все воспоминания, касающиеся жизни родителей. Таким образом, получились эти маленькие *qui pro quo*, которые производили иногда забавное впечатление; так, например, когда мальчик, который никогда не покидал своего песчаного берега, начинал восхвалять величие Акапулько, или когда какой-нибудь десятилетний мальчик - с серьезным выражением на лице старой опытной повитухи повествовал о своих семи родах, или когда маленький ребенок со слезами рассказывал, что у него утонул во время рыбной ловли маленький братец, который родился и умер до его рождения.

В моих записках значится: 16 июля, Терезита, дочь Элии Митцекачихуатль, 14 лет.

Ее отец привел ее ко мне в хижину и с гордостью объявил, что дочь его говорит по-испански. Она недавно вышла замуж, была хорошо сложена и была беременна; цвет ее кожи был почти сплошь синий, только единственное пятно на спине величиной с ладонь напоминало еще о ее первоначальном цвете. Хотя, по-видимому, она очень гордилась тем, что ей позволили предстать передо мной, она все-таки проявляла большое смущение и страх,

чего я до сих пор не заметил ни в одном из момоскапанов. На все наши просьбы говорить она отвечала гримасой и упорно молчала. Даже ее муж, который только что возвратился с рыбной ловли и угрожал подкрепить увещания отцовской палки концом своего каната, достиг только того, что ее смущенная улыбка перешла в жалобное завывание. Тогда я показал ей большую безобразную олеографию св. Франциска и обещал подарить ей ее, если она наконец заговорит. Тут ее черты немного прояснели, но она все-таки не заговорила, и только после того, как я обещал подарить ей также и св. Гарибальди - ремшейдская фирма приобрела где-то целую партию олеографий Гарибальди по очень дешевой цене, и их-то дон Пабло продавал за св. Алоизия, изображения которого уже были все распроданы, - только тогда я победил наконец Терезиту, и она сдалась при виде всех этих великолепий. Я начал осторожно делать обычные вопросы, и она, заикаясь, стала рассказывать обычные глупые детские воспоминания, которые я уже слышал бесконечное множество раз. Мало-помалу она перестала бояться, начала говорить свободнее и рассказала некоторые факты, относившиеся к жизни матери и бабушки. Потом, совершенно неожиданно, маленькая индианка крикнула вдруг громко и пронзительно, но вместе с тем низким голосом, как и до сих пор:

- Алааф!

Едва она произнесла это слово, как запнулась и замолчала; она потирала колени руками, покачивала головой из стороны в сторону и не произносила больше ни слова. Отец, чрезвычайно гордый, что его дочь "заговорила наконец по-испански", стал уговаривать ее, грозил ей, но все было напрасно. Я видел, что в этот день от нее больше ничего не добьешься, отдал ей ее картинки и отпустил ее. На следующий вечер меня постигла с нею та же неудача, как и в два последующих дня. Терезита рассказывала все те же пустяки из детских воспоминаний и замолкала на первом иностранном слове. Казалось, будто она до смерти пугается каждый раз, как другое существо в ней резко выкрикивает: "Алааф!" С большим трудом мне удалось добиться от ее отца, что ее способность говорить на иностранных языках далеко не проявляется каждодневно, только раза два в своей жизни, при исключительных обстоятельствах, когда она бывала особенно возбуждена, она говорила по-испански, как, например, накануне своей свадьбы, во время пляски на ночном празднестве. Сам он никогда не произнес ни одного испанского слова, но как его отец, так и его старшая сестра умели объясняться на этом языке.

Я каждый день дарил Терезите и ее родным всякую мелочь, обещал им еще много прекрасных вещей, зеркало, изображения святых, бусы и даже отделанный серебром кушак, если только Терезита заговорит наконец на "чужом" языке. Алчность всей семьи была возбуждена до крайности, а бедная девочка мучилась больше всех, так как все набрасывались на нее одну. Старый кацик чутьем угадал, что Терезита заговорит только под влиянием сильного возбуждения, как бы в состоянии экстаза, а потому я предложил ему подождать до одного праздника, на котором предполагалась пляска и который должен был состояться на следующей неделе. На это мне однако возразили, что беременные женщины отнюдь не могут принимать участия в подобных празднествах, моя настойчивая просьба, подкрепленная заманчивыми обещаниями, хоть раз сделать исключение, ни к чему не привела. Доказательством тому, что отказ этот не обуславливался гуманными чувствами, было его предложение бить Терезиту до тех пор, пока в ней не появится необходимое возбуждение. Это, конечно, привело бы к желанной цели и не слишком повредило бы индианке, так как женщины в этой стране привыкли к побоям и переносят их лучше всякого мула. Однако, несмотря на то, что Терезита позволила бы десять раз избить себя до полусмерти, чтобы только получить серебряный кушак, я отклонил это предложение. Я уже готов был отказаться от дальнейшей попытки заставить заговорить Терезиту, как вдруг кацик сделал мне новое предложение: он решил дать Терезите пейот. Этот любимый индейцами опьяняющий яд употребляется мужчинами в торжественных случаях, но строго запрещается женщинам. Я очень хорошо понял, почему кацик, за хорошее вознаграждение, конечно, в этом случае был сговорчивее, чем в первом: если бы Терезита, вопреки запрещению, приняла участие в пляске, то все племя увидало бы это; тогда как напоить ее

опьяняющим напитком можно было в моей хижине, втайне от всех. Да и приготовился старик к этому очень тщательно: он пришел ко мне глухой ночью, велел двум индейцам, находившимся у меня в услужении, лечь у самого порога моей двери, а отца Терезиты, ее мужа и одного из ее братьев, который тоже был посвящен в эту тайну, расставил вокруг хижины в виде караульных. А чтобы успокоить также и свою совесть, он одел молодую женщину в мужское платье; она имела очень смешной вид в длинных кожаных штанах своего отца и голубой рубашке мужа. Ради шутки я взялся дополнить ее туалет: в то время как варилась горькая настойка из головок кактуса, я нахлобучил ей на глаза мое сомбреро и подарил один из пунцовых кушаков дона Пабло, которые пользуются таким успехом у индейцев. Сидя на полу на корточках, молодая женщина выпила большую чашу отвара; мы сидели вокруг нее и курили одну папиросу за другой, ожидая действия яда.

Прошло довольно много времени. Наконец верхняя часть ее туловища начала медленно отклоняться назад, она упала с широко раскрытыми глазами и погрузилась в тот своеобразный сон, который является результатом отравления пейотом. Я наблюдал за тем, как ее взоры жадно глотали дикие краски галлюцинаций, но очень сомневался в том, что она в состоянии этого пассивного опьянения проявит какой-нибудь активный экстаз. И действительно, губы ее были плотно сжаты. Старый кацик не мог не видеть, что его план не удался, что опьянение при помощи пейота произвело на молодую женщину то же действие, какое производило на него самого и его соплеменников. Но, по-видимому, в нем заговорило желание поставить на своем: он стал варить вторую порцию отвара с таким количеством головок кактуса, что этим отваром можно было сбить с ног целую дюжину сильных мужчин. Потом он приподнял опьяневшую женщину и поднес к ее губам чашу с горячим напитком. Послушно втянула она в себя первый глоток, но ее горло отказалось проглотить горький напиток, и она выплюнула его. Тогда старик, шипя от ярости, схватил ее за горло, плюнул на нее и сказал, что задушит ее, если она не выпьет всю чашу. В смертельном страхе она схватила чашу и, сделав над собой невероятное усилие, проглотила ядовитый отвар и упала навзничь. Последствия эти были ужасны: все ее тело приподнялось, скорчилось, словно какая-то бесформенная змея, ноги ее переплелись друг с другом в воздухе. Потом она прижала обе руки ко рту, и видно было, что она делает невероятные усилия, чтобы удержать в себе отвратительный отвар. Но это не удалось ей. Страшная судорога приподняла ее вверх, и она извергла из себя яд. Старый кацик задрожал от ярости; я видел, как он схватил кинжал, которым разрезал головки кактуса, и как с криком бросился на несчастную женщину. Я успел схватить его за ногу, и он плашмя упал на глиняный пол. Однако Терезита успела заметить его движение и остолбенела, словно приросла к соломенной стене, потом она издала протяжный стон, как изголодавшийся пес. Ее зрачки закатились под самый лоб, и видны были почти только одни белки, которые ярко светились на ее фиолетовом лице; из судорожно сжатого рта еще сочилась коричневая жидкость. Но вот ее колени слегка задрожали, она поднялась на ноги, встряхнула своим сильным телом, как бы собираясь с духом, выпятила грудь, с силой взмахнула руками и стала все быстрее и быстрее биться головой о стену. Все это обещало очень банальный и совершенно нежелательный исход. Невольно я пробормотал про себя:

- Черт возьми, какое свинство!

Но вдруг с губ Терезиты раздался резкий, грубый крик:

- Дуннеркиель!

Она крикнула это не своим голосом, и казалось, будто с этим голосом прекратилась какая-то отчаянная борьба. Судороги сразу прошли, все ее тело успокоилось, уверенным жестом Терезита вытерла рукавом рубашки лицо, а потом - совсем как немецкие крестьяне - нос и рот. Тело ее отделилось от стены, на лице появилась широкая спокойная улыбка. Она твердой поступью вышла из угла и подошла к очагу, оттолкнула старика, перед которым только что трепетала в смертельном страхе, и самоуверенным жестом приказала ему встать в стороне. Тут только я увидел, что это была уже не Терезита, это был кто-то другой.

И этот другой, не спрашивая, схватил стоявшую на земле чашу с вином и залпом

осушил ее.

- Благодарю тебя, брат. Пресвятая Дева защитила нашего генерала! К черту этих лютеранских свиней. *Rax vobiscum!*

Она взяла мой хлыст и, ударив им старика, крикнула:

- Повторяй за мной, собака: *Rax vobiscum!*

Старик весь сиял:

- Вот видите, вот видите: она заговорила по-испански.

Однако Терезита говорила вовсе не по-испански. С ее синих, широко улыбающихся губ срывалось чистейшее старинное нижегерманское наречие:

- Ах, они не понимают христианского языка, это чертово отродье.

Потом она молодцевато передернула плечами:

- Клянусь святым Жуаном де Компостелла. Я голоден, чертовски голоден, а ведь у меня брюшко не хуже, чем у виттенбергского шутовского попа. Эй, брат, раздели со мной твой паек.

Я сделал знак старику; пока я наполнял чашу вином, он принес из угла сухарей и кусок жареной рыбы. Терезита посмотрела на него:

- А, отлично! Ах, эти синие собаки! Что скажет мне мой кельнский архиепископ, если узнает, что я проповедовал христианство этим синим обезьянам? Я должен ему привезти несколько штук, иначе он не поверит. Но это правда, брат, это правда: кожа у вас не выкрашена, она, действительно, синяя. Мы этих собак оттирали щетками и скребли напильником. Мы сдирали с них целые куски кожи, и оказалось, что она синяя и снаружи, и внутри.

Терезита пила и ела и беспрестанно наполняла чашу вином. Я начал задавать ей вопросы, очень осторожно, сообразуясь с тем, что она говорила; при этом я подражал, насколько мог, ее говору, вставляя время от времени в старогерманское наречие голландские слова, прибавляя к этому испанскую ругань и латинские цитаты. Вначале я плохо понимал ее, и целые фразы проходили для меня непонятными, однако мало-помалу я привык к этому старинному наречию. Раз я чуть было не испортил того, чего мы добились после страшных усилий: я спросил, как ее зовут. Как-то невольно у меня вырвались те единственных два момоскапанских слова, которым я выучился за все мое пребывание среди синих индейцев и которые мне так часто приходилось повторять: "Хуатухтон туапли?" ("Как тебя зовут?") Тут по лицу Терезиты прошла легкая судорога, и она боязливо ответила мне на своем языке и своим собственным застенчивым голосом:

- Меня зовут Терезита.

Я испугался, думая, что она сейчас придет в себя. Однако того прадеда, который продолжал жить в ней, не так-то легко было изгнать: Терезита снова засмеялась громко и беззастенчиво:

- Хочешь пойти со мной, брат? Завтра я опять велю зажарить троих, которые слишком глупы для того, чтобы выучиться делать крестное знамение.

Из отрывочных фраз Терезиты мне удалось до некоторой степени установить биографию предка синей индианки. Он родился на Нижнем Рейне, в Кельне; в качестве францисканца он был посвящен в сан священника и затем совершал походы вместе с испанскими войсками как полковой священник; он побывал на Рейне, в Баварии и во Фландрии. В Милане он познакомился с ван Штратеном, который позже уехал в Мексику, где был пятым, после Кортеса, губернатором. Предок Терезиты последовал за ним в Мексику и с ним вместе совершил известный поход в Гондурас. Каким-то образом он в конце концов попал в Истотасинту к синим индейцам, среди которых насаждал на свой особый лад христианскую культуру.

Терезита продолжала пить одну чашу за другой; ее голос становился все грубее и прерывистее, и болтовня полкового попа становилась все развязнее. Она рассказала о взятии Квантутачи, где предводительствовала с саблей в одной руке и крестом - в другой. Она рассказала о сожжении трехсот Майя при взятии Мерида. Она плавала в море крови и огня;

она упивалась победами и оргиями с женщинами во время разгромления храмов. Такого множества людей еще никто не убивал.

- Hci, viva el general Santanilla, alaaf, alaaf Koln!

Голос изменил ей, казалось, словно у нее не хватило сил выразить криком всю силу разгула этого повелителя:

- Если хочешь, брат, то я велю всех вас завтра зажарить, всех вместе, всю синюю сволочь! Хочешь? Каждый должен сам сложить себе костер и поджечь его. Вот-то будет весело.

Она снова осушила чашу:

- Отвечай же, брат! Что, ты этому не веришь? Пресвятая Анна, они сделают все, все, что я хочу, эти грязные свиньи. Ты этому не веришь? Берегись, брат, я выучил их одной хорошей штуке.

Она снова ударила кастика хлыстом.

- Иди сюда, старая языческая собака! Твой проклятый язык слишком часто молился твоим поганым чертовским идолам, пока я не привез вам Спасителя и Пресвятую Деву! Долой этот синий обезьяний язык, который молился Тлахукальпантекухтли, вшивой Богине Коатлику-Ицтаккихуатль и Тзентемоку, грязному Богу солнца, рыскающему по всему свету вверх ногами. Долой, долой твой проклятый язык, откуси его сейчас же, слышишь!

Терезита кричала: целый град момоскапанских слов, словно удары хлыста, сыпался на старика. Потом вдруг, как если бы это бурное словоизвержение на родном языке сразу погасило в ее воспоминании давно прошедшие времена, она вся съежилась, и руки ее беспомощно нащупывали точку опоры, которой она так и не нашла. Медленно, как безжизненная масса, ее тело упало на землю. Она вся съежилась в углу, и тихие рыдания потрясли ее тело. Я повернулся к ней, чтобы протянуть ей кружку с водой; тут мой взгляд упал на старого кастика. Он стоял во весь рост, закинув голову и устремив широко раскрытые глаза вверх. И язык, свой длинный фиолетовый язык, он вытягивал вверх, словно хотел поймать им на потолке муху. Из его горла вырвались гортанные звуки, руки его судорожно сжимали голую грудь, и ногти глубоко впивались в синюю кожу. Я ничего не понимал, я только смутно сознавал, что в нем происходит страшная борьба, что он отчаянно сопротивляется чему-то внезапному, чудовищному, какой-то непреодолимой силе. Сопротивляется страшной силе белого господина, которому безвольно подчинялись его отцы. Он боролся с этой адской силой, которая возродилась через сотни лет и была такой же непреодолимой, как и раньше. Этот поток страшных слов, от которых предки его когда-то терпели нечеловеческие муки, уничтожил время; вот он стоит тут, жалкое животное, которое должно само растерзать себя по первому знаку господина, - и он повиновался, он должен был повиноваться: в страшной судороге, под напором дикой нечеловеческой воли, сильные челюсти сжались и перекусили высунутый язык. Потом он подхватил окровавленный комок мяса губами и отплюнул его далеко в сторону.

Меня охватил ужас, я хотел крикнуть, потом бессмысленно ухватился за карман, как будто у меня там было средство, которым я мог помочь. В эту минуту к моим ногам, лапаясь, подползла Терезита. Она поцеловала мои сапоги, забрызганные грязью:

- Господин, получу ли я теперь серебряный пояс?

Торреон (Коахила), Мексика. Март. 1906